

2002
ПРЕМИЯ
«РУССКИЙ БУКЕР»

2012
ПРЕМИЯ
АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА

2017
ПРЕМИЯ
«ANGELUS»



ОЛЕГ ПАВЛОВ

**ОТСЧЕТ
ВРЕМЕНИ
ОБРАТНЫЙ**



Олег Павлов

Отсчет времени обратный

«WebKniga»

2020

Павлов О. О.

Отсчет времени обратный / О. О. Павлов — «WebKniga», 2020

Этой книгой – девятой по счету, посмертной – издательство вынужденно завершает многолетнюю персональную серию «Проза Олега Павлова». Сборниками или отдельными произведениями «Время» опубликовало все, что им написано: «В безбожных переулках» (2007), «Степная книга» (2008), «Асистолия» (2010), «Гефсиманское время» (2011), «Дневник больничного охранника» (2012), «Казённая сказка» (2012), «Дело Матюшина» (2013), «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» (2013). Лауреат европейской премии «Ангелус», Солженицынской премии и «Русского Букера», переведенный на многие языки, Олег Павлов (1970–2018) – «абсолютно самостоятельная и самодостаточная фигура в русской литературе: глубокий, самобытный, независимый художник» (Владислав Отрошенко).

© Павлов О. О., 2020

© WebKniga, 2020

Содержание

Совсем немного о нем...	6
Владислав Отрошенко. Он – в истории	6
Павел Басинский. Трудно быть большим	9
Валерий Былинский. Олегу	11
Юрий Петкевич. Скрещение судеб	13
Платон Беседин. Олег Павлов: в сердцевине света	15
Студенты Литературного института имени А. М. Горького (мастерская Олега Павлова, 2013–2018)	17
Студенты Литературной мастерской Олега Павлова (2015–2017)	22
Лилия Павлова. Совсем немного о нем	27
I. Потерянные рассказы. Проза	28
Взрыв	28
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Олег Павлов

Отсчет времени обратный

Художественное электронное издание

Издательство благодарит Фонд А. И. Солженицына за помощь в издании этой книги

Художник

Валерий Калныныш

© О. Павлов, наследники, 2020

© Время, 2020

* * *

Совсем немного о нем...

Владислав Отрошенко. Он – в истории

Со середины лета мы говорили с ним по телефону каждый день. Каждый божий день. Я сидел дома в гипсе на костылях – он порывался непременно помочь (его природа!) хорошими врачами, деньгами, всем на свете. И первое, и второе у меня было. А вот у него... Тогда, в июле 2018 года, я еще не мог предположить, что врачи нужны будут ему и что хороших в страшную минуту рядом не окажется. Я знал только, что от премии «Ангелус» денег у него почти не осталось. Помню, как он радовался, что отдал все долги: тот, кому приходилось вытаскивать из страшной болезни близкого человека, поймет меня. Он вытащил. Молча. Никому не жалуясь и не желая быть должным кому-либо из литераторов. Должны ему. И по сей день. Многие. Те, кому Олег Павлов помогал в литературной судьбе.

Начиная с сентября, когда уже случились первые толчки к смертельной черте (еще до больницы он перенес, как установили, на ногах два инфаркта), мы говорили уже по несколько раз в день. Часами. Разговоры наши не прерывались ни на один день и тогда, когда я очутился за семь тысяч километров от Москвы на острове, где восстанавливался после травмы. Мы говорили обо всем. О Литинституте. О больничке (павловское словцо). О придурковатых санитарях (ох как он умел шутить на тему этой самой больнички). О литературе (ох как точно он знал цену любого, кого читал). О задуманных новых вещах. Ну и, конечно, о моем перерезанном сухожилии. «Ты там давай, давай лечись, плавай больше!» Это он мне, уже выбросившему медицинскую трость, по ватсапу, с больничной койки, с иглами капельниц в венах... Господи Боже!

Последний раз я слышал его голос в пятницу, 5 октября. И голос меня поразил. Впервые с того момента, когда его вышибло из колеи, вышибло из привычной жизни, вышибло отовсюду, когда ушибло его сердце, чрезвычайно чувствительное ко всему, что с ним по жизни случалось (друзья – и не только – это знали), – впервые он говорил тяжело, задыхаясь, еле выговаривая слова... Я повторял одно: «Олежа, Олежа, держись! Ты должен выкарабкаться!» Мы договорились созвониться в субботу. В условленное время – капельницы задавали режим связи – я набирал его несколько раз. В 15.53 я написал ему сообщение в ватсапе: «Олег, как ты? Звоню тебе, ты не отвечаешь!». Ну, может быть, спит, повторял я, как заклинание, может, в реанимационном на процедурах – там нельзя по мобильнику... такое уже было, было...

Нет, такого не должно было быть. В XXI веке, как и в предыдущих, в России с замыслами в голове и невеликими годами за спиной уходит из жизни писатель, значение которого при жизни в отчизне плохо понималось.

...Около 14.00 по Москве в воскресенье, 7 октября, Лиля позвонила мне. Сказала, что он только что ушел. Лиля была с ним до последней минуты, как была с ним каждую минуту его писательской судьбы. Он умер в Первой Градской на руках у жены...

Помнить и читать его будут.

Он в истории, и он сам – история литературы.

Разговор с литературой

Телефонный звонок. В увесистой трубке, каких сейчас не сыщешь – это было на заре нашей 27-летней дружбы, – голос Олега Павлова:

– Я тебя в ефрейторы разжаловал! Понял, Отрошенко?

– Нет, не понял...

– А вот считаешь, увидишь!

В голосе веселый азарт. Веселый, детский азарт. Одно из свойств его тонкой и жизнелюбивой натуры, которая многим – ошибочно – казалась грубоватой и мрачной.

На следующий день встречаемся. Вручает мне черный томик с золотым и белым тиснением – издательский амбир 1990-х.

На обложке название – «Степная книга». Дома открываю – читаю рассказ «Мировая ночь». Ничего особенного в нем не происходит. Но рассказ потрясает – душа затягивается в повествование, как щепка в водоворот.

Карагандинская степь (волшебный локус его прозы!) – в степи трое караульных: охраняют какой-то бессмысленный, никому не нужный склад. С ними овчарка. Вокруг бескрайнее степное пространство, звезды. Одного «служивого» (драгоценное слово его повествований!) зовут Ерошкой, другого – Суховым. А третий – ефрейтор Отрошенко.

Краем души, ощутившей в полной мере и ужас, и величие ночи, улыбаюсь. Ефрейтора Олег наделил не только моей фамилией. Наделил многим. Вымышленный Отрошенко тоже высокого роста. Также родом с юга России. Да что уж, прямо из Ростова-на-Дону. Даже некоторые фразы, повадки, жесты – от реального Отрошенко.

Но при этом ни соринки стеба.

Все настолько глубоко и жизненно, что о явном озорстве мгновенно забываешь.

Рассказ заканчивается совершенно космической сценой. К утру все трое караульных засыпают. Не спит только собака. Она сидит рядом со служивыми и самозабвенно воет на звезды. А под этими грозными карагандинскими звездами что-то видят в караульных снах три солдатика.

И вдруг понимаешь: трое мальчишек, три ребенка, спящие в объятиях «мировой ночи».

Солдаты-дети – важнейший феномен художественного мира Павлова. Светлые, ясные, чистые души. Что бы они ни творили. Даже когда они убивают, топчут ящериц от караульной тоски.

Я уже не могу оторваться. Открываю другой рассказ – «Солдатская». И вдруг снова – знакомый ефрейтор Отрошенко. Казахстан. Железнодорожная станция. Унылая, грязная, скучная. И бессмысленная. Как и тот военный склад в степи неизвестно с чем.

Главный герой – рыжая сука, похожая на маленькую женщину. Она лежит на перроне, тоскливо позевывая.

Все остальное, весь зримый мир вращается вокруг этой оси – рыжей суки: пассажиры, вагоны, старики, солдаты. Мир плывет мимо суки могучим и тоскливым потоком. И текут вместе с ним мысли героя-повествователя:

«Еще в этом карауле думалось всегда о доме, потому что на вокзале гудели поезда, отправляясь по городам нашей родины. И какой-то поезд трогался по расписанию на Москву или Харьков – где жила мать. Лились по щекам слезы, когда это случалось. Когда заспанные проводницы светили сквозь ночь фонариками. И когда на бортах вагонов мелькали облупившиеся башенки Кремля.

Скорый на Москву отбывал с вокзала в двадцать два сорок. И тогда плакал я. А в восемнадцать, пораньше, отбывал поезд на Ростов, и тогда плакал громадный Отрошенко, с которым чаще иных доводилось мне топтаться в толчее, будучи в карауле от комендатуры.

Привыкая, Отрошенко плакал по-вечернему и в полку. По заведенному обычаю, рота наша конвойная уплетала за ужином порцайки. И никто не знал, отчего плачет Отрошенко. Думали солдаты так: плачет потому, что от ужина к ужину который месяц каша в котелке – перловая. А такому горю солдаты были помочь не в силах. И только не мешали, как могли, ефрейтору плакать и давиться кашей».

...Теперь ты, конечно, знаешь, Олег... Олежа, отчего... Оттого что с тобой уже не поговорить. Ни о чем. Никогда.

Разговор теперь – только с литературой Олега Павлова.

С ней уже говорят, помимо русского, на английском, французском, итальянском, польском... Всех языков не перечислишь.

Павлов сегодня не то чтобы самый переводимый – он самый оцененный в Европе русский писатель.

По-настоящему, по гамбургскому счету оцененный. О чем свидетельствует не только престижнейшая премия Старого Света «Angelus», но и невероятные, мало кому выпадавшие, знаменующие безоговорочное признание его таланта статьи в ведущих европейских СМИ.

Это неувидительно. Это следствие.

Следствие того, что Олег Павлов – абсолютно самостоятельная и самодостаточная фигура в русской литературе: глубокий, самобытный, независимый художник. И того, что его литература основывается на ценности внутренней свободы, достоинстве человеческой личности, сострадании, исповедальности, неприятию зла и несправедливости.

Павел Басинский. Трудно быть большим

Он и вправду был большой, даже просто физически. Высокого роста, богатырского сложения. Большим всегда труднее. Они заметнее. На них обращают внимание. Олег и гордился своим «богатырством», и, мне кажется, немного тяготился им. Редко куда ездил, мало ходил, разве что с собакой постоянно гулял. Собак он любил. Хорошие люди всегда любят собак. И собаки их любят.

Но дело не в этом. Он был большим русским писателем. Это сегодня ясно как божий день, хотя при его жизни многие это не понимали, да и я, грешный, не до конца понимал.

Он был из ранних. Сразу после армии (служил в конвойных войсках, как Довлатов) пришел в Литературный институт. Я прекрасно помню, как он проходил собеседование. Заходит такой огромный парень, что-то стал говорить о литературе... «Свободны», – сказал председатель приемной комиссии Евгений Сидоров. Он вышел, так ничего и не поняв. «Этого парня нужно брать», – коротко сказал Сидоров. И всем было ясно: этого парня нужно брать. Потому что это – писатель. А как это объяснить – не знаю.

Впрочем, тогда его уже заметили критики (например, Алла Марченко) по первым опубликованным рассказам из «Караульных элегий». Что в них такое было? «Ужасы армейской жизни»? Это клише потом приклеилось к Олегу навсегда и много повредило его репутации. Дело ведь было не в «ужасах». Тогда многие писали и про «ужасы», и про армию, и про лагерь... Дело было в какой-то невероятной яркости таланта, в совершенно особой манере изображения жизни, в своем особом мировоззрении.

Он и вправду был большой. Высокого роста, богатырского сложения. Большим всегда труднее.

Да, проза Олега Павлова была заточена на страдающего человека. В его понимании русский человек – это вообще человек страдающий, ну как «человек мыслящий». Страдать – значит мыслить.

Многим критикам это не понравилось. «Что он нас все время пугает?» Но, между прочим, его «Казенную сказку» заметили не кто-нибудь, а Георгий Владимов и Виктор Астафьев. Они сразу приняли его как младшего брата. «Казенную сказку» и потрясающий рассказ «Конец века» про бомжа, который умирает в больничке, заметил и оценил Александр Солженицын. Потом он получит премию Александра Солженицына. Он был самый молодой лауреат этой премии.

Ему вообще-то не очень везло с премиями. Может, я ошибаюсь, но и «Русского Букера» довольно поздно он получил благодаря тому, что председателем жюри в том году был Владимир Маканин. Владимов, Астафьев, Солженицын, Маканин – оцените этот ряд классиков, для которых проза Олега была очевидно большой литературой. После этого на мнение критиков он мог бы смотреть с высокой колокольни. Увы, это было не так. Этот богатырь был на самом деле ранимым человеком. На мой взгляд, слишком ранимым. В нашем деле нужно быть проще и жестче. А Олег все время волновался, все время думал, что вокруг него происходит что-то не так... Что его не любят, недооценивают. На самом деле это просто черта творческого человека, а вовсе не самомнение.

Его многие считали слишком серьезным. А он был порой удивительно смешон, остроумен, но как-то по-своему.

Однажды вез его на своей машине в Ясную Поляну. Приехали поздно, было уже темно. Въезд в пансионат проходил через узкую темную аллею. Ехать минут пять. Потом я читаю его очерк «Яблочки от Толстого». Наш путь через аллею он описал примерно так: мрак, ужас, куда мы едем, приедем ли вообще куда-нибудь? Я посмеялся тогда над ним, но потом подумал:

ну да, человек так видит, по-писательски видит. Не как шофер или простой пассажир, а как именно писатель. В этом была какая-то удивительная оптика его зрения, ни на кого не похожая.

И еще он был настоящий москвич. В Москве родился, в Москве и умер. По-московски был хлебосолен, постоянно звал к себе в гости, обижался, что мы не приезжали. Ну у нас же, «понаехавших», другая психология. Тащиться на другой край Москвы... А для него это был дом родной.

И была в нем одна черта, о которой многие не знали. Будучи еще совсем молодым писателем, он очень многим помогал, даже тем, кто старше его. Пусть те, кто помнят его добро, помянут его светлым словом. Он это заслужил.

И еще я знаю, что его любили студенты Литературного института, где он несколько лет вел семинары, брал на себя огромную нагрузку. За что они его любили? Да вот за то, что к литературе (их литературе) он относился очень серьезно. Всех внимательно читал, разбирал. Думаю, что из-за этого он многого не написал своего.

Но и свое успевал. «Асистолия», «Дневник больничного охранника» – эти его последние вещи останутся в русской литературе, вот увидите. Вместе с «Караульными элегиями», «Казенной сказкой», «Концом века» и «Карагандинскими девятинами».

И даже вместе с его жесткой, порой злой, но такой яркой критикой, которой он тоже отдал дань.

Он на самом деле много сделал за эти 28 лет. Мог бы сделать больше. Но кто знает, что лучше – больше или навсегда?

С ним было трудно. Но кто сказал, что с писателем должно быть легко и комфортно? Легко и комфортно бывает с людьми типа Остапа Бендера. А Олег был совсем из другого теста. Иногда хотелось крикнуть ему: Олег, будь проще, будь легче, будь ловчее с людьми! Но я понимал, что это бесполезно. Такой он был человек. Редкой, сложной породы.

Кстати, «Асистолия» (название одной из его последних вещей) – это «прекращение деятельности сердца». Олег и умер от сердечной недостаточности. Тоже не случайность.

Прощай, Олег! И вечная тебе память...

Валерий Былинский. Олегу

Ну что сказать. Шок, непонимание от такого горя и какое-то смутное, горькое понимание, что у Господа Там все, наверное... так, как нам не понять никогда.

Ушел Олег Павлов, русский писатель.

На похоронах Олега от нашей литературы было лишь несколько человек, но много пришло молодых красивых людей – его студентов. Олега любили. На лекциях в Литинституте он завораживал своей харизмой, послушать его приходили друзья студентов из других вузов. Он учил не просто «как писать», а впитывать и всю мировую культуру: фильмы, режиссеров, художников, музыку. В середине 90-х половина семинара в Лите тех лет начали печататься в «Новом мире», «Октябре», «Знамени» благодаря Олегу, который ходил в редакции журналов с рукописями не известных никому авторов, пробивал их, отстаивал. Андрей Геласимов вспоминает, как Олег выудил из самотека в «Октябре» его рассказ «Нежный возраст» и его опубликовали. А когда он пришел к Павлову домой, Олег показал ему стопку рукописей в метр высотой от пола. И он все это читал, чтобы найти что-то стоящее...

Он был трудяга. Относился к писательству как к труду крестьянина, которому надо, как он говорил, «вспахать поле или несколько полей, чтобы потом взошло что-то настоящее...» Писал ночами. Те из друзей, кто приходили к нему, знали, что выйдет он из спальни только в два или в три дня с землистым, бледным, но счастливым лицом. Начал печататься в двадцать лет. Первый же роман сразу вошел в короткий список «Букера». Много лет работал охранником в больнице, где никто не знал, что он писатель. Литературная наша тусовка его сначала с восторгом признавала, а потом, в последние лет пять, отвергла. Ему говорили: милый, ты должен быть, как все мы – когда надо, одобряемсом послужи, а когда нужно, осуждамсом. Помню, мы сидели и пили на кухне Олега в его квартире после всех этих украинских и крымских событий и Олег говорил, что от него все время ждут, даже требуют или радостно кричать за «Крымнаш», или злобно выступать против. А он мне – единственный из современных известных русских писателей – говорил, что лучше русскому писателю в такой вот грязной ситуации вообще молчать, от боли, – так честнее, так по совести будет, чем вкатыть злобными лозунгами в этой гражданской бойне в умах, сердцах и на полях, когда убивают наших братьев и с той, и с другой стороны. В войне близких народов или одного народа не бывает предателей и героев – только человечность в чести у любого самого мужественного воина на любой из сторон. «Не нужно быть героем, достаточно не сделать за всю жизнь ни одной подлости...» – это слова из его романа «Асистолия».

Олег был самим собой и в прозе – его литература вообще ни на что не похожа. Когда читаешь, сначала может не понравиться, тяжело, страшно, неприятно, а потом уносит, завихряет, как в закручивающуюся спираль галактики. Это и сказ, и притча, и жесточайшая реальность – все вместе, сразу. «Казенная сказка», «Конец века», «Степная книга», «Карагандинские девятины». Великие вещи. Космичные. Да, в его книгах был именно космос и какая-то нутряная тоска по настоящему, безо всякой политики. Он был подлинный русский писатель – не в пример орущим псевдопатриотам или тем, кто охаивал и ненавидел все русское. Когда его выкинули из милой литературной нашей тусовки (ну, мол, а что такого, сам же, типа, не захотел?) – и называли так себе писателем, не в пример новым медийным завсегдатаям премий и писательских командировок и съездов, – он, Олег, единственный из современных русских писателей, уже будучи лауреатом Букера и Солженицынской премии, вдруг получил в 2017 году престижнейшую международную литературную премию «Angelus», ту самую, которую называют ступенькой на пути к Нобелю. На церемонии вручения «Angelus» трилогию Олега «Повести последних дней» назвали «продолжением великой русской прозы». После этого те, кто кривился от одного упоминания Павлова, вдруг хмыкнули: а, ну да, вообще он ничего. Да какое

там «ничего». Это по настоящему, по гамбургскому счету, вот что. Нашлись, конечно, тут же подлые голосишки: мол, премия эта для русофобов и т. д. Да вы поищите, мелкие души, более русского, чем Павлов! Хватит уже мыслить только лишь величием или унижением нашей многострадальной родины. Кроме России есть еще огромный остальной мир, целый земной шар. А писатель – если он настоящий – всегда выходит за рамки своей национальности, своей страны. Как Достоевский выходил, как Толстой, как Маркес, как Хемингуэй, как Фолкнер. Вот и Олег был такой. А теперь его нет. Да нет... есть он, есть. Вечность есть, существует, и ты, друг мой, там сейчас. Ты попал внутрь самой великой и таинственной книги и читаешь сейчас ее; книги, которую нам тоже в свой срок предстоит прочесть и встретиться с ее Автором. А там... ну посмотрим, Олежка. Покоя и радости тебе в доме Небесном, друг. Не забудем.

Юрий Петкевич. Скрещение судеб

Олег Павлов – один из самых близких мне современных писателей, начавших в 90-е годы прошлого века и прорвавшихся в нынешний. Я пишу: *прорвавшихся*, потому что как-то не верится, какой год на календаре, и не верится, что Олега уже нет. Да, мы не живем, а прорываемся из года в год. Даже не из года в год, а изо дня в день.

Олег мне близок, так как мы представляем, продолжаем одну и ту же литературную школу, школу Андрея Платонова. И, может быть, мы последние его ученики, и тем более Олег мне дорог. Открываю наугад «Карагандинские девятины» – и первая же фраза сразу в сердце. *«Вдруг что-то мягкое и легкое коснулось спины: это побирюшка прижалась к нему потихоньку, проверяя, тот ли он человек и не забыл ли ее, но делала вид, что никуда не уходила, а оставалась здесь же рядышком»*. А почему прямо в сердце – потому что живые слова, неприликанные, непричесанные. Или вот из финала этой повести. *«Ветер приносил то воздушную свежесть холода и ощутимую до озноба морось, то гарь со шпал и понюшку чего-то жженого – наверное, угля из печурок промчавшихся вагонов. Он ясно увидел ночь, когда они шли в тот же час в том же направлении и по тому же безмолвному простору, и осознал с удивлением, что все уже было, только не было этого тяжелого арбуза, который он нес для девочки, почему-то помня и помня о ней, а не о тех, кто тоже когда-то был»*.

Я не нахожу слов, чтобы написать, чем хороша, чем дорога мне литература Олега Павлова, что же в ней такого, не хочу анализировать, делать какие-то выводы, поэтому и начал с этих небольших отрывков, прочитав которые всякий поймет, что это из сокровенного, а если не всякий – не поймет, ухмыльнется, то этому *не всякому* я все равно не объясню, не растолкую, да и не надо сокровенное Олега своими словами, не надо из его слов выводить некие формулы, когда этих формул просто не существует.

Одно могу сказать: когда писатель настоящий, наступает момент – и у Олега так и вышло, – что не жизнь опережает его литературу, а литература начинает опережать жизнь. И его жизнь стала как его книги. И последние страницы жизни Олега открывают глаза на многое, становится как-то не по себе от узнавания в жизни его литературы. Будто он стал сам писать свою жизнь со всей неумолимостью, а потом не смог остановиться. На самом деле все не так, я пробую об этом написать гладко, красиво, с какими-то выводами, а есть ли у жизни какие-то выводы, конец есть, из этого еще ничего не следует, что можно было бы подытожить. И я сказал Лиле, жене Олега: ты напиши все это, как было, – и это будет последняя вещь Олега.

Теперь бы я попробовал – из своих собственных, только моих воспоминаний, которые сейчас во мне вырастают. Олег мне очень много помогал и помог. Я ему очень многим обязан и благодарен ему. Я учился у него, хотя он младше меня. И все же дело не в том, что Олег помогал мне. Мне очень многие помогали и помогают, вокруг меня очень много очень хороших людей, которые лучше меня, и все же хочется копнуть глубже и выразить то, до чего сам до конца не дойдешь, не осмыслишь, но я попробую.

Когда у меня вышла книга «С птицей на голове», надо было где-то провести презентацию, а вот негде... А так как я еще художник, я хотел одновременно с презентацией книги провести выставку. А выставка для меня очень важна, важнее презентации книги, потому что литературой сейчас не прокормишься. Я рассказал Олегу, что вот негде провести презентацию. Как раз ему должны были вручать Солженицынскую премию в Доме русского зарубежья, и Олег в этот очень сложный день для него не забыл про меня и подошел к директору Дома русского зарубежья, попросил за меня. И в этот день, когда Олегу вручали Солженицынскую премию, директор, как Олег мне рассказывал, никак не мог отказать, тем более что презентацию с выставкой просили всего лишь на один день.

Я не уверен, что кто-нибудь другой на месте Олега в день вручения премии вспомнил бы обо мне, я сам, может быть, не вспомнил бы, а вот Олег не забыл. Однако не это главное в этой истории. Главное другое, что последовало дальше, хотя Олег здесь как бы ни при чем. Когда уже надо было заниматься презентацией книги и выставкой, я пришел в Дом русского зарубежья и обратил внимание на церковные росписи на стенах; церковные – но таких я в церквях нигде не видел, не допустили бы, хотя как бы все по канону. Я осмелился спросить: а что это за росписи? Мне сказали: есть вот такая Н. П. Белевцева в таком-то кабинете, спроси у нее. Я нашел Белевцеву и спросил у нее. Оказалось, что это привезенные из Франции росписи церкви св. Иоанна Воина в Медоне, выполненные в 1930-е годы ученицей о. Сергия Булгакова – сестрой Иоанной, Юлией Рейтлингер. Я не буду сейчас описывать все связанное с Юлией Рейтлингер, но от этого события, от встречи с Н. П. Белевцевой, которая знала Рейтлингер, в моей жизни что-то стало меняться. Но если бы не Олег, ничего этого бы не произошло. Это все можно назвать скрещением судеб, многих судеб – *и здесь, и там*. Скорбя о том, что росписи Рейтлингер мало кто замечает, ее творчество мало кому знакомо, я стал помогать сестре Иоанне – однако по сей день не получается ей помочь, но она мне помогает. Между прочим Н. П. Белевцева обронила, что ей (Рейтлингер) мало кому удастся помочь, что ей очень трудно помочь. Но мне – кому-то, кто уже *там*, – все же удавалось помочь, и они помогали мне. И вот сейчас, когда *там* Олег, может, я смогу ему помочь, когда при жизни он мне помогал, а я ему ничем особенным так и не помог, вообще ничем не помог, и, может сейчас смогу ему помочь, и он, если при жизни мне помогал, сейчас тем более поможет.

В заключение расскажу, как писал его портрет. Писал я у Олега на крохотной кухоньке. Олег сидел за столиком в тельняшке. Мы о чем-то разговаривали очень буднично. Олег по-настоящему позировал, и вот это была моя ошибка. Так писать Олега, чтобы он позировал, было нельзя. Когда еще работал над этим портретом, я понял, как надо Олега написать. Я вспомнил, как мы поехали с ним в церковь у метро «Парк культуры» на Комсомольском проспекте. Олег ходил в эту церковь, и я с ним зашел. Олег рассказал о чуде, происшедшем с ним. Потом мы вышли на церковный двор, и я тогда впервые заметил, что он уже весь седой, а я как-то этого не замечал – и у меня раскрылись на него глаза. И вот таким мне надо было его написать, во весь рост его огромный, на церковном дворе после чуда. А я написал буднично на кухне, и портрет Олегу не понравился. Сейчас, когда Олег умер, я захотел взглянуть на этот портрет. Что мне удалось выразить – это хрупкость, незащитность Олега. Конечно, тут многие возразят – какая может быть у громадного Олега Павлова хрупкость и незащитность? Но я его хорошо знал, и конец его жизни только подтверждает, что Олег был хрупкий и незащитный. А каким еще может быть писатель, да еще в наше время, спрашиваю я – сам еще более незащитный, чем Олег. Конечно, такой *хрупкий* портрет Олегу не понравился, и я тогда подарил ему Троеручицу. Потом Олег рассказывал, как приехал с Афона, а вместе с ним ехал человек дальше, в глубину России, и у Олега ночевал. Утром Олег проснулся, а этот человек молился перед моей Троеручицей. И когда Олег рассказывал, я был рад, что вот кто-то, кого я не знаю, приехав с Афона, молился перед моей Троеручицей. Вот мое счастье, подаренное мне Олегом. А потом Олег увез Троеручицу в Правду, и я был рад, что Она у Олега в Правде, где он работал, и, быть может, Она помогала ему...

Платон Беседин. Олег Павлов: в сердцевине света

Нужно иметь великое мужество, чтобы жить с сердечной, во всех смыслах, болью. Но еще труднее писать об этом – так, чтобы пробуждать сострадание в людях. Олег Павлов, великий русский писатель, жил и творил, прорубая лед равнодушия, растапливая заиндевевшие сердца. Чтобы в конечном счете боли, прочувствованной и разделенной как можно большим числом милосердных людей, стало меньше.

Но не выдержало сердце писателя. То, что, согласно различным представлениям, символизирует центр любви и безопасности. И изнашивается чувством вины, сопряженным с ответственностью – за себя, близких, народ. Подлинно русский писатель без этого невозможен.

Олег Павлов не дожил до пятидесяти. Хотя многим казался старше, чем был на самом деле. То ли от груза мудрости лет, то ли от того, что столь много успел в литературе. Он появился в ней рано – в 1990 году, ему было всего двадцать лет. Журнал «Литературное обозрение» опубликовал его автобиографический цикл рассказов «Караульные элегии». В них Павлов живописал будни «зоны» глазами того, кто вынужден надзирать за людьми. Сам писатель, попав в армию, служил в конвойных войсках Туркестанского военного округа, откуда его комиссовали по состоянию здоровья. Уже тогда оно не выдержало атаки нагой, расхристанной жизни.

Таков оказался первый излом. Столичного образованного парня отправили в советскую армию, в бесконечные степи, охранять эков. Там он столкнулся и с жестокостью, и с равнодушием, и с несправедливостью, и с болью во всей ее зияющей кровотокающей полноте. Свои воспоминания, тоскливые, щемящие, как одиночество на краю пустыни, Павлов караваном слов протянул через всю жизнь: «Степная книга», «Карагандинские девятины» – все это оттуда, из глубин раненого подсознания и выбеливающих равнин.

Павлова-писателя оценили, приняли, вознесли. Когда ему было двадцать четыре года, его «Казенная сказка», опубликованная в «Новом мире», попала в тройку лучших книг по версии «Русского Букера». Первенство она уступила лишь «Генералу и его армии» Георгия Владимова, расхвалившего тогда молодого коллегу. Виктор Астафьев вторил ему. Александр Солженицын доверил Павлову комментировать письма, приходящие ему в фонд. А в начале «нулевых» – в 2002 году – Олег Павлов получил «Русского Букера» за «Карагандинские девятины», разрывающие и беспощадные, как голодная до хандры людей вывернутая наизнанку жизнь, но вместе с тем до христианской проповеди милосердные.

Однако именно «нулевые», начавшиеся для Олега с триумфа, принесли новый излом – уже профессиональный, творческий. Его вдруг, признанного, маститого, несмотря на скромные, совсем незначительные по писательским меркам тридцать лет, попытались оттеснить, отодвинуть в сторону. И этот процесс был не только субъективным (с интригами, замалчиваниями, сведением счетов), но и прежде всего объективным – русская литература в начале XXI века словно обнулилась. Востребованным стало другое – актуальное, сверкающее, но без сердцевины, а условно молодые (впрочем, зачастую не младше самого Павлова) замаршировали на литературном плацу вышколенными рядами, сильно напоминающими партийную организацию.

Оказалось, что извечное «так жить нельзя» никуда не исчезло, но приняло иные стандарты. Павлов в них больше не вписывался – во многом потому, что настойчиво твердил, как жить можно и нужно. А его осуждающее «нельзя» касалось не народа, как привыкли, а условий, поставивших этот народ в непристойное и неприглядное положение.

В 2017 году Олега Павлова наградили одной из крупнейших европейских премий «Angelus», но даже об этом российское (намеренно не говорю «русское») литературное сообщество ухитрилось «тактично» умолчать. Настолько оно ухватилось за привычно удобные

фигуры, часто ходульные, обнуленные и обнуляющие, но свои, комфортные для восприятия и сосуществования – тех, кем управлять можно, выдавая за моральные и нравственные авторитеты. Павлов в эти схемы не вписывался. Как, к слову, и в любые другие. Он писал на языке «живом как жизнь» и о жизни живой, пусть часто и обезвоздушенной, корвалольной, но вдруг в одночасье закипающей, совершающей резкий излом и переворачивающей судьбу человека, народа, казалось бы выкорчевывающей первоосновы в необходимости нащупать новые ориентиры, ценности, дабы опереться в итоге на никуда не исчезнувшее, но закамуфлированное и оттого позабытое.

Скажу странную, отчасти даже простодушную вещь, но у Павлова всегда было то, чего многие (в том числе и в литературе) в одночасье лишились, – совесть. Очень русское качество, как и другое, Олегу свойственное – стремление к подвигу, не только в жизни, по отношению к близким, но и в творчестве. Потому отодвинуть его, как ни пытались, оказалось невозможно. Да, последний роман писателя – «Асистолия» – вышел в 2010 году, однако все это время Павлов, несмотря на трудности, испытания, не прекращал писать и делал это намного выше, талантливее, чище, чем многие литературные околонули: рассказы, не опубликованные при его жизни, но выходящие в свет сейчас, в этом сборнике, расставляют не точки даже, а многоточия.

Ведь творчество в целом и писательство в частности – болезненный марафон на длительную дистанцию, когда бежишь даже после ухода из жизни. Павлов имел выдержку, рожденную достоинством и честью, а главное – смирением в его подлинно христианском смысле. Тем, которое позволяет двигаться дальше, пусть это и видится невозможным. Оттого правда Олега Павлова, как бы ее ни боялись, проступила, оформилась – и с каждым годом, с каждым новым читателем, нуждающимся в сострадании и в способности сострадать, когда мир вокруг сократится до пульсирующей точки, она будет разрастаться, возвращаясь на свое законное место.

Русской литературой спасались – спасемся ею и в будущем; книги Олега Павлова здесь явятся великим подспорьем. В них есть то, что долгое время питало и насыщало русскую прозу, хотя мало кто (скажу осторожно) мог писать так в последние два-три десятилетия – великий талант неподкупно, без фальши рассказать о судьбе человека в трагическое время, бережно, но непоколебимо встав на защиту его человеческих прав и достоинств.

«Казенной сказкой», «Делом Матюшина», «Карагандинскими девятинами» Павлов продолжил традицию великой русской литературы. Каждая строчка в его книгах – пережитая, донесенная с болью, кровью и мудростью; строчка, за которую пришлось заплатить (в числе прочего ранним уходом). Однако именно эта трагичность и ставит произведения Олега на критическую высоту, с которой хорошо видно – только с нее и видно – истинную расстановку сил, акцентов, этические и эстетические терзания и перемещения – маневры, совершающиеся на поле боя, коим стала душа человеческая.

Битва эта древняя, бесконечная – конца ей не предвидится, победитель вряд ли объявится, а потому остается верить, терпеть, искать откровение во взбитой сражениями пене дней, перетекающих в неуютную вечность. Той, где, перефразируя Платонова, жизнь темна, но человек в ней светится, – и великий талант этот свет уловить и донести его остальным людям, подарив и надежду, и утешение.

Светлая память, Олег. Без тебя нам всем жилось бы труднее.

Студенты Литературного института имени А. М. Горького (мастерская Олега Павлова, 2013–2018)

* * *

Он был учителем. Называть его преподавателем странно. Не терпел фальши. Учил не врать прозой. Говорил о писательском кодексе. За какой-то мощной стеной наставлений он был другом. Просто написал мне, приехал на репетицию и смотрел, как я играю с группой. Играли плохо, но громко. Слушал нас, закрыв глаза, отбивая ритм тяжелым ботинком. Много шутил. Я не мог понять его возраста. В нем было что-то от старца, хотя он всего на год старше моего отца. Говорил как с равным, оттого и радость, что считал тебя своим. Меня удивляла его способность называть вещи своими именами, говорить о человеке что-то точное, не будучи слишком знакомым с ним. Так и случилось на первом курсе. Сказал важные слова, которые мне не хотелось принимать, а как принял, не успел поблагодарить. Ушел.

Он был ранимым и закрытым, почти никого не подпускал к себе. Самое больное – говорить о нем с кем-то. Начинает казаться, что мы заняты глупостями и не можем чего-то понять.

Валерий Джеджея (5 курс, очное отделение)

* * *

Есть много тех, кто пишет книги на русском языке. Но использовать его для создания текстов – еще не значит быть русским писателем. Нечто иное, пронесенное в сердце, выстраданное, духовное, содержится в тех редких людях, которые создают настоящую русскую литературу.

Олег Павлов – один из таких людей. Это понятно из его книг: ничего пустого, выдуманного – он учил этому и нас, своих учеников, студентов своего семинара в Литературном институте. Писать честно, искать собственный мотив, не терпеть лжи и глупости. Задавать себе вопросы. Отвечать – не жалея себя. И неустанно работать.

Говорят, что научить писать невозможно. Есть такая расхожая фраза. Да, пожалуй, это справедливо. Но научить, что такое быть писателем – если решаешься встать на этот трудный путь, – вот что важно. На первом занятии с нами, со своими учениками, Мастер сказал, что писатель – это профессиональный читатель. Множество великих произведений с тех пор – книг, фильмов, картин, музыкальных композиций – мы впитали в себя, словно солнечный свет.

Он учил нас понимать, чувствовать, видеть и слышать. Мы учились писать, работать над текстами. Работать над собой, чтобы, если кому-то из нас это удастся, создавать настоящую русскую литературу. Олег Олегович вложил в нас свои силы и свое время.

Что может красноречивей говорить о любви писателя к своему делу, о его мудрости и его знаниях.

Вячеслав Катичев (5 курс, очное отделение)

* * *

Из десятка моих литинститутских однокурсников только двум, включая меня, удалось окончить семинар Олега Павлова. Это неслучайно: Олег Олегович был во многом непростым человеком, и чтобы поддерживать отношения, приходилось работать над ними сверх общепринятого – взять хотя бы его фантазию, которая не ограничивалась литературным пространством и часто проливалась в жизнь, выливаясь в непонимание. Наверное, в последние годы я мог работать над этим (не)пониманием усерднее, и, наверное, кенотаф должен быть немного другим – но это одна из вещей, которым научил меня Олег Олегович, и он бы расстроился, напиши я здесь что-то другое.

Ведь несмотря на всю «непростоту» – а может, и благодаря ей – он был человеком, само знакомство с которым дописывает к тебе несколько важных страниц, приоткрывает тяжелые шторы, за которыми – невиданная еще жизнь и освежающе зябкий ветерок. А еще он был небезразличным – настолько редкое качество, что иногда это почти обжигало, и не знаю, нужно ли добавлять что-то еще.

Андрей Мягков (выпускник 2018 года, заочное отделение)

* * *

Оставаясь наедине с собой, начинаю внутренний диалог с О. О. Павловым. Осознала и всплакнула. За последний месяц мы с ним в моей голове поговорили о многом. Он мне постоянно напоминает про рассказ «об отце», как он его назвал, который читал последний раз перед смертью. Я советуюсь с ним о поворотах сюжета в новом рассказе. Прежде чем сделать важный шаг или принять ответственное решение, я представляю, что прихожу на семинар, и он, в свойственной ему простой манере, начинает спрашивать, что происходит в моей жизни.

Павлов умер, но после этого его стало только больше в моей жизни. Чувствую ответственность перед ним за свои действия. Ведь теперь я будто несу его имя. Так я чувствую.

Он учил нас чувствовать, быть честными, думать и не быть трусами. Я не знаю никого, кто так же сильно был бы предан своим ученикам. Что бы ни происходило в нашей жизни, он всегда был рядом, готовый помочь. Он был рядом со мной в самые трудные минуты и наставлял не только в литературе, но и в жизни.

Олег Олегович умер. Мы всем семинаром прощались с ним в церкви. Но он не ушел из нашей жизни. И я надеюсь, что смогу сохранить память о нем в своем сердце до самого конца.

Алина Руф (3 курс, заочное отделение)

* * *

Бывает между людьми некоторый момент взгляда – так, что одни люди друг с другом говорят и друг друга слушают, но не смотрят, а другие могут не говорить, но смотреть; смотреть и видеть. Все это в значении больше метафизическом; взгляд – как признание в другом человека, взгляд – определение иному места в мире, взгляд – понимание, дар свободы. Так случается, что за всю жизнь никто на тебя может ни разу не посмотреть. Олег Олегович был одним из тех, кто на меня смотрел и меня видел. Мы друг другу сказали очень мало слов за все время, однако, я думаю, взгляда было достаточно – того, что он был.

Я думаю так потому, что, говоря о словах и языке – в чем и есть смысл литературной мастерской, в помощи узнавания языка, – мы не можем прямо использовать язык как инструмент. Но, находясь в контексте речи, через такой взгляд можно воспринять всё. Речь Олега Олеговича была разной всегда – в момент произнесения, в момент обращения письменного, в статьях, в книгах, – и что как не эта разность говорит о глубине чувства языка; а значит, о том, во сколько раз увеличивается ценность взгляда человека, таким чувством обладающего.

Я не верю в смерть, и я очень благодарен ему – за помощь в нахождении языка, за чувство, за взгляд, – и, наверно, я имею право сказать, за любовь.
Вадим Степанов (4 курс, заочное отделение)

* * *

Он стал учителем. Но ему удавалось давать нечто большее, чем знания. С теорией литературного мастерства закончил мигом: в течение месяца. Дальше была только практика. Ему нравилось давать необычные задания: этюд о вареном яйце, характер человека на фотографии. И не поймешь – всерьез это или шутка. Но для него все было связано: фильмы Кесслёвского, дневники Гогена, бусидо. В его собственном Кодексе на первом месте стояла любовь к своему народу, вера в него. Только она давала ему право на резкий правдивый взгляд. Он учил так же: «жестко, как сама жизнь». Порой до слез. Сам признавался: «Сначала бью, потом думаю». От его искренности часто становилось не по себе. Она оглушала. Казалось, он ждал того же в ответ. Или всего лишь надеялся, что кто-нибудь сможет его понять. Часто обижался по мелочам – в основном из-за работы, а уже на следующий день все забывал. Жаловался на здоровье, позволял себе выпить и много курил.

Он искал ученика. Ученика, который разделял бы его убеждения. Ему посчастливилось встретить двух, но они ушли из института еще на первом курсе...
Полина Рейтер (4 курс, очное отделение)

* * *

Олег Олегович мне говорил: «Быть умным – значит все понимать, а все понимать – значит страдать». Страдание не превращать в тоску, а превращать в прозу. Свою. Говорил, что нам пять лет друг друга понимать...

Был такой случай – спас меня от пересдач по античной литературе. Посоветовал прийти на экзамен и сказать, что мой мастер – Олег Павлов. Сдала в тот же день. Да, защищал всегда. Но не жалел. Хотел, чтобы я была сильнее своих страхов.

Литература неотделима от жизни. Поэтому учил жизни – то есть прозе. Еще искренности, всегда и во всем. «Придите к самим себе».

Помню, как-то я не могла заснуть, он мне написал тогда, что видит, как падает снег. Сказал понаблюдать и почувствовать отстранение – тогда придет спокойствие. Тогда я смогу уснуть и что-то написать.

Три года в семинаре Павлова, где мою веру превратили в знание, дали понять, во что нужно вцепиться зубами и не отпускать, а чего сторониться. Теперь больно и счастливо. Слово «спасибо» ненавижу, поэтому не буду. Говорил так: скажи – поняла.

Татьяна Виноградова (4 курс, очное отделение)

* * *

В семинар Олега Олеговича я попала случайно. Пришла с подругой и решила, что должна учиться у этого человека. До сих пор помню первое впечатление. Детское потрясение, что есть на свете такие люди. Дух, мужество, благородство, толком не смогла тогда сформулировать, уж тем более понять. Мы были первым очным курсом. Фильмы, книги, этюды, дневники, обсуждения – каждую неделю. Далеко не сразу мы смогли разглядеть, оценить его каторжный труд, бесконечную самоотдачу, оптимизм и большую любовь. Каждый прочитанный им текст – понимание и отношение как к равному. Вообще, у него был талант – понимать человека, безошибочно чувствовать его суть.

С усмешкой Олег Олегович относился к идее «выучиться на писателя», студенческой инфантильности. Но он учил, и учил гораздо большему – быть человеком. То есть учил мыслить, чувствовать, сострадать. Открывал огромные пласты жизни и литературы, скрытые от подслеповатого взгляда современного поколения. Главным уроком стал он сам. Его слова, поступки, принципы, его жизнь, более всего, его уход. Самое дорогое и важное, к сожалению, часто видится только издалека.

Элеонора Оробинская (МГК им. Чайковского, 3 курс, училась у Олега Павлова один год)

* * *

Семинар Павлова – это момент, вросший в вечность. Это вечный вторник, когда я умираю и рождаюсь, чтобы начать быть. Я вошла в этот

кабинет из мира, в котором не хотят страдать. Но, касаясь Павлова, слово «позитив», словно полиэтиленовый пакет в огне, мгновенно съезжилось и смердело.

С первого дня он поставил нам планку своего понимания жизни. А ведь это должны были сделать мы. Но было очевидно, что такой планки мы себе поставить не можем.

Жизнь еще не успела нас изранить, и тогда резал он: Кесьлёвским, Тарковским, Бахом, Брейгелем, Босхом, Ван Гогом – всем самым дорогим. Резал, чтобы оживить в нас сердце, заставить его чувствовать. Это было больно. Но вместе с болью сердце открывалось миру и открывало его для себя. Он не раз говорил, что невозможно научить человека писать. Но он делал больше – учил сострадать.

Однажды он дал задание – съездить в Новодевичий, а после зайти в кафе рядом и выпить облепихового чая. Потому что он туда заходил и пил этот же чай.

Его правда – ощущение души как одинокого пространства, невозможности даже вкус чая ощутить одинаково, открылась одновременно с правдой и неизбежностью смерти.

Его смерть – последний, сквозной надрез. Его завещание – быть верным своему пути.

Его книги – то, с чего может начать быть каждый.

Ксения Конева (4 курс, заочное отделение)

Студенты Литературной мастерской Олега Павлова (2015–2017)

* * *

Умер Олег Павлов. Мой Учитель.

Ушел уникальный, удивительный человек. Тонкий, ироничный. Мудрый. Добрый и чуткий. Человек, изменивший мою жизнь – навсегда к лучшему. Благодаря ему я живу, живая.

Мы пришли в его литературную мастерскую уже взрослыми: из разных профессий, с разным жизненным опытом и уровнем одаренности. Мы гордо называем себя павловцы.

Встреча с Мастером стала для многих из нас жизненной вехой, когда начинаешь видеть мир по-другому. Олег Олегович научил не спешить, не осуждать, а наблюдать и записывать. А еще научил, как направить прожектор внимания внутрь себя и сделать свои проблемы ясными, видимыми и понятными. Научил видеть себя и окружающий мир такими, какие они есть на самом деле.

Он научил меня самому важному – осознанности.

Павлов в каждом ученике развивал свой голос. Мягко, но настойчиво просил не лгать, быть предельно искренними в прозе. Как-то раз попросил учеников прочитать выбранную индивидуально для каждого книгу и написать рецензию: кому-то достались мемуары прекрасной поэтессы, кому-то сборник ироничных рассказов умершего от голода писателя, кому нетленные классические произведения. А меня он попросил прочитать современный дамский роман. Я очень удивилась и даже обиделась, но раз Мастер так решил, спорить с ним не стала, начала читать. Смогла осилить меньше половины и села писать рецензию. Предельно искренне, как Павлов просил. Рецензия получилась короткой и очень эмоциональной. Павлов прочел и долго смеялся. А мне хотелось плакать.

– Ну что, поняла наконец? – спросил он, хитро прищурившись. – У этого читва, кстати, многотысячные тиражи.

– То есть вы мне это дали...

– А ты пишешь лучше. Да поверь ты в себя! Или ты мне не веришь? Мне, Павлову?

И я начала потихоньку верить.

Он относился к ученикам как к детям, и радовался нашим успехам, и всегда находил особенные слова для каждого. Он учил нас быть сильными, добиваться своего и никогда не отказываться от мечты. Я обращалась к нему за советом, и он всегда помогал.

Я обращаюсь к нему сейчас. И я верю, что он меня слышит.

Он умер, но он жив. В своих словах, книгах, учениках.

И в моем сердце. Навсегда.

Екатерина Литта

* * *

Однажды в моей жизни появился Он. Даже странно называть его тем же местоимением, что и всех мужчин. Он всегда будет в истории моей жизни с большой буквы.

– Ты не графоманка, ты – автор, и это твоя форма исповеди. Я дарю тебе название твоей первой книги. Это будет «Случайное небо», – сказал мне Он, Олег Павлов, писатель с небесным даром, а может и наказанием, видеть не как все.

Я нашла Его по старой привычке постоянно учиться. И Он учил: смотреть фильмы, видеть картины, понимать книги. У него были и другие драгоценные списки разного богатства человечества. Потом Он оставил меня наедине с моей литературой, с его «Одиночество – кабинет писателя... Честность – понятие личное... Творчество – это психическое состояние, достаточно тяжелое, особенно для близких людей... Слово записанное упорядочивает мир. Останавливает его текучесть. Не позволяет понятиям размываться».

А потом Он ушел, может быть, даже по воде. Разделил жизнь на «до» и «после», оставив открытым финал.

Наталья Торик

* * *

Мне выпала удача учиться у Олега Олеговича на литературных курсах.

Встреча с ним становилась безусловной вехой для каждого, кто имел счастье быть его учеником. Судьбоносной она стала и для меня.

Он, словно терпеливый, мудрый и добрый волшебник, творил с людьми чудеса, помогая раскрыть своим ученикам все лучшее, что в них заложено Богом, помогал ожить, самореализоваться, сбросить с себя серую обывательскую пелену, бережно раздувал в каждом творческие искорки, превращая их в огонь, а у кого и в пожар.

Как всякий богато одаренный человек он был принципиальным, иногда непростым в общении, не идущим на компромиссы, отчего его литературная судьба в России складывалась непросто – в Европе его книги в последнее время издавали чаще, чем на родине, и последняя полученная европейская литературная премия стала тому подтверждением.

Но как бы ни сложилась его судьба при жизни, невозможно отменить его неотъемлемый вклад в русскую культуру, в великую русскую литературу, вечной частью которой он стал.

Николай Шуваев

* * *

Олег Олегович не учил тому, что ждешь получить на уроках литературного мастерства, не давал пошаговых инструкций, универсальных рецептов. Вместо этого он открывал нам глаза. Главное – это понимать, что

пишешь: в этом отличие писателя от графомана. Его первый урок – привыкать говорить правду, и начинать с себя, ведь себе соврать проще всего. Он вообще не терпел лжи. Мог быть резок, и на него иногда обижались, но все, что он говорил, было правдой. Он видел больше, много больше, чем мы, его ученики, и чем другие люди. Часто понимание его слов и поступков приходило позже. Он об этом знал и только улыбался. Людей видел насквозь, чувствовал каждого своего ученика. Каждому советовал почитать или посмотреть что-то свое, и это всегда было в точку. Он учил видеть, слышать, чувствовать. Избавляться от штампов и в мыслях, и в словах, и писать только правду – то, что испытал сам. Как-то он поделился, что хотел бы написать рассказ, в котором герой – нюх: через запахи показать один день, начиная с самого утра. Помню, в нем точно должен был быть запах яичницы. Остальное – забыла... Может быть, кофе, сигареты... А вот что дальше? Как бы закончился этот день? Успел ли он написать этот рассказ? Олег Олегович мог легко делиться своим замыслом: все равно, кроме него, никто не смог бы так написать. И он это знал, слишком хорошо знал. Его стиль забыть нельзя. Мне он сказал: «Выжимай из своего текста всю воду. Уберешь воду – превратишь в вино. Ну а дальше – превращать вино в кровь». Но это мог только он сам.

Марина Кокуш

* * *

Мы познакомились в клубе анонимных писателей журнала «Русский пионер». Первый сезон 2015 года, «павловский», был особенным – между писателем и учениками не было дистанции. Кроме изучения писательского мастерства, мы много общались – обсуждали фильмы, книги, спорили, и даже Олег Олегович был нам доступен. Перед занятиями мы всей группой сидели у подъезда библиотеки имени Фурцевой, разговаривали, по окончании шли к метро. В свободные дни общались в сети – каждый мог задать ему любой вопрос и получить ответ. Это был настоящий клуб! Не лекторий, где перед слушателями выступает холодная и недоступная писательская звезда, а сообщество, где все равны.

Олег был прямолинеен и честен. Иногда слышать критику было больно, но зато как радовала его похвала! Он научил меня писать открыто, а потом безжалостно удалять лишнее.

С тех пор мы не виделись, но в начале 2017 года «встретились» в моем воображаемом мире. Я прочитала его статью о власти человеческой памяти, о мнимой и истинной реальности. В ней он писал, что воображение сильнее правды.

С этой статьи началась моя первая книга. Точнее, я поняла, что бессознательно ее уже написала. С 2015 года я бродила по своим снам и вела дневник сновидений, не предполагая, что пишу книгу снов. Статья Олега Олеговича стала для меня потрясением. Я осознала себя писателем, не анонимным, а настоящим.

Полина Ма

* * *

Первая встреча – и сразу стало важным учиться у него, Олега Олеговича.

Решено без раздумий, молниеносной интуицией. Как говорят психотерапевты, скорее всего случился перенос. Он был весь такой интеллигентной, но нервной организации русский человек, со сложносочиненной геометрией тонких душевных линий, рисовались которые, видимо, трудновыносимым жизненным опытом. Человек – даже не колодец, а глубокая шахта. Человек – загадка. Типаж моего отца, с которым у меня не сложились отношения еще в детстве. А раз так решила Вселенная, значит, пришло время неслучайной случайности.

Это был «Литературный клуб для начинающих авторов». Выкуривать из моей головы, как мне казалось, устойчивые оптимистичные воззрения на свой счет начали уже первые задания. Павлов не шел к нам с циркулем и линейкой, не пользовался неким учебным шаблоном. Он кидал нас в чужое качественное творчество, как щенят в море, давал почувствовать ломоту морали, совести, художественного вкуса. Как хирург, безжалостно резал перитонит искусственности и выбивал из рук щиты лицемерия. Это был наш общий эксперимент, в котором мы двигались на ощупь всеми органами осязания и еще свыше, интуитивно. Ни себя, ни нас он не жалел. Мы тщательно осознавали детали собственной исключительности, собственного почерка, собственной меры правды и ответственности. Почему пишешь, или не пишешь? Зачем ты пишешь? Для кого? Какова твоя мера откровения? В чем ты интересен другим? Для нас это скорее было интересно, но больно, чем больно интересно. Мы сталкивались сами с собой без прикрытия. Нагая правда лишала иллюзий. Скоро, очень скоро вместо выкрикивающей банальности писанины появились личные бесстрашные темы. Моя благодарность Олегу Олеговичу за то, что, вновь проживая свою детскую драму через такой опыт, я смогла смотреть в лицо своим внутренним демонам, видеть их и понимать, а в результате управлять ими. Наконец стать свободным человеком. Он научил. Спасибо, Учитель. Спасибо.

Ирина Антоненко

* * *

Он писал: «Я не верю, что можно учить кого-то чему-то, ничего об этом человеке не поняв». Так он учил: стараясь понять, помочь. Он был учителем бесконечно щедрым – делился с нами, теми, кто пришел к нему на курс, всем тем, что когда-либо повлияло на него. Олег Олегович так говорил об этом: «Я отдаю вам свой путь». До каждого он хотел донести понимание искусства, но самое главное – жизни, людей. То, чему учил мастер, не было просто приобретением профессиональных навыков. Он предлагал именно путь, способ жить – медленно, вдумчиво. Так, как жил сам.

Он старался о каждом из нас понять, что мы можем. А потом внушить нам веру в себя. Думаю, для многих из нас, тех, кто учился у Олега Олеговича, эта его вера в нас на всю жизнь останется источником поддержки.

Помню, как однажды услышала его разговор со студенткой. Она подошла к мастеру после занятия и говорила о том, что не знает, как соединить свои наброски, записи о детстве в единый текст. На столе у Олега Олеговича лежал рюкзак – разноцветный, он всегда носил его с собой. Он тогда показал ей на него: «Вот, этот рюкзак. Из чего он сшит?» Она ответила: из лоскутов. Тогда он спросил: «А из этих лоскутов только рюкзак можно сшить?» И она, сама удивляясь своему ответу, сказала: «Все что угодно». Так он нам отвечал, помогая думать самим. Указывал путь, помогая идти по нему самостоятельно – так, что и нам казалось после, будто это мы сами все сделали. Он умел, как никто другой, найти верное решение, нужное слово. Каждый его совет был всегда открытие. И все же он был очень одинок – как учитель рисования из его же рассказа «И входит учитель в класс». Но и так же, как тот Карандаш, готов поддержать каждого своего ученика.

Если бы я могла еще хоть что-то сказать мастеру, сказала бы, что очень благодарна. За понимание, терпение, требовательность, за поддержку, внимание и душевную теплоту. За доверие. За то, что научил быть собой.

«Тут я понял, что формула жизни простая, именно жизни, а не счастья и т. п. *Хочу, могу, сделаю*. Жизнь требует, чтобы мы были сильными. Это хорошо. Пусть никакая цель не заменит самого смысла жизни и главного вопроса – ради чего? – она заставит думать, действовать, решать множество вопросов, главный из которых тот, который нельзя отменить. Это не борьба за жизнь – а, может быть, борьба с жизнью. Чтобы остаться самим собой».

Учитель, всем нам будет очень вас не хватать.

Дарья Синайская, слушательница ВЛК и участница мастерской

Лилия Павлова. Совсем немного о нем

В 90-м году, когда мы познакомились, это был двухметровый двадцатилетний парень с длинными черными волосами, синеглазый и очень белокожий. Тогда уже невероятно харизматичный. В споре с какой-то студенткой с курса он приблизил свое лицо к ее лицу, тихо и внушительно спросил: «Да вы понимаете ли, что такое – *стиль*»? Девушка стушевалась. До этого она очень уверенно разглагольствовала о разных стилях в литературе. Ну это ж Лит, тут все такие. Но с преподавателями при сдаче экзаменов и зачетов он говорил не то что на равных, а подминая их. Они сдавались – и любовались им.

Показал мне первые рассказы, опубликованные в «Литературном обозрении». Потом рассказал о себе. «Боль, боль, боль» – так называлась его статья, опубликованная в белорусском «Парусе», – о том, как все было там, в армии. Это были полгода, после которых он вернулся в Москву, как пишет в дневниках, трупом. И тогда начал выписывать свою боль. Но нет там «страшных жестокостей армии», как пытались истолковать его прозу некоторые оценщики. Там – удивительно лиричные новеллы с любовью к человеку и, кстати, с юмором.

Он был звездой Лита, потом там таких не было. Через много лет Сергей Николаевич Есин признался ему: «За двадцать лет институт выпустил только одного писателя – тебя».

Через годы его черные волосы стали совсем седыми, синие глаза – серо-синими. А вот кожа осталась такой же – молочно-белой. Может, этой кожи и не было.

І. Потерянные рассказы. Проза

Взрыв

Только что спал – а открыв глаза, увидел перед собой плачущую жену. Это больно, резко привело в сознание, как будто ударив током спящий мозг. Понедельник... Должна была разбудить, потому что только уже приготовленный завтрак вытягивал каждое утро из постели. Разбудила – и ничего не могла сказать, объяснить. Он лежал и смотрел на нее, как паралитик, понимая: случилось страшное, если она рыдает... Это не вмещалось в сознание, как если бы и оборвалась вдруг жизнь. Их жизнь... Дочь... Сын...

Родителей своих похоронили – там пустота. Только дети – но давно оторванные, далекие. Сын был ему ближе – и роднее, дороже. Она – та, что родила – любила слепо и одинаково. А он почему-то выбирал, как будто должен был принести кого-то из своих детей в жертву. Мечтал о девочке – родился мальчик. Уговорил жену родить второго ребенка – и она, дочка, появилась на свет. Крохотная, слабенькая. Душа размягчилась, успокоилась. Тогда он и стал счастливым отцом. С ней был нежным – а с подросшим мальчиком вел себя, как воспитатель, наказывая и ломая, если не подчинялся. Заставил, наверное, многое пережить, страдать. Вырос сильный красивый молчаливый парень. Жалел мать, уважал отца, оберегал сестру, понимая, что это его семья. Но легко себя освободил, когда стал студентом, отселившись к бабке с дедом, обожавшим первенца. Для всех так было удобней. А потом он улетел в Америку продолжать учебу, а потом женился на американке и остался там, получив гражданство... Американец. И все он делал молча, даже о таких вещах сообщая между прочим, когда прошло время. Программист, он работал в компании, офис которой был в одном из обрушенных небоскребов, – но об этом проговорилась его американская жена. До этого за столько лет он прилетал один и только на похороны: когда ушла из жизни бабка, а через полгода умер дед. Изредка звонил – давая понять, что жив, здоров, но и только. Когда мать, чуть не сойдя с ума, вызванивала его из Москвы сразу же после сообщений о том, что произошло там, где они жили, в Нью-Йорке, он, наконец-то ответив, вполне равнодушно сообщил, что приехал домой с работы и что у него все нормально. Но потом, через месяц, внезапно позвонил и сказал, что они прилетают, он и его жена. Может быть, что-то почувствовал, понял. Простил. Вернулось живое, родное: дом, семья. Но только потому, что гостил у них сын. Дочь – она жила отдельно. Он всегда исполнял ее желания, исполнил и это, против своей воли, не выдержав, сдавшись: слезы, почти мольбы капризной девчонки, захотевшей в свои шестнадцать получить свободу. Понимал: все равно когда-то это случится. Но когда станет взрослой... Когда создаст свою семью... И вдруг – ушла, оставив одних, лишив так больно своей любви.

После смерти родителей они берегли эту квартиру для нее... Она жила там, конечно, под присмотром, но впуская в свою жизнь уже только мать. Та все знала, и его еще долго обманывали, – а он верил, не догадывался, ничего не понимал. Какое же это было поразительное и нелепое открытие: что его невинная, как он думал, девочка стала женщиной и у нее был мужчина, которого она любила. Юнец какой-то смазливый. Жил в его квартире, спал с его дочерью. Присвоил, даже не спросив, ничтожество, мерзавец. Но как он был жалок, обманутый... Отец, которому лгала его дочь... Муж, которому лгала жена... Он вышвырнул этого парня – и все его шмотки, – а потом напился, ожидая прихода в мертвую квартиру дочери, чтобы застать ее в таком же, самом жалком, наверное, и унижительном виде. Нет, он не ударил ее, он даже не кричал на нее, он только хотел запретить ей так жить – грязно. А она сбежала, пропала.

После этого был другой – вполне взрослый и состоятельный, но поэтому как бы даже грязней, а она жила у него, с ним, пока ему хотелось о ней заботиться. Доверчивая, легко-

мысленная, добрая девочка. Любила, а потом страдала, оказываясь игрушкой в чьих-то руках. Мужчины менялись, как времена года. Бегала по съемным квартирам. И теперь жила где-то с каким-то типом. Гражданский муж... Это называется гражданский брак... И подлец ей внушал, что в этом случае оба они свободны: стало быть, счастливы.

Ему было ее жалко – но не мог преодолеть что-то похожее на отвращение. То ли к ней, то ли к этим ее мужьям – и такой любви. Сказал однажды: «Найди себе хотя бы еврея. Они заботливые и не бросают своих детей».

Остался сын – и вот он ждал его звонков, приездов и разговоров с ним одиноких мужских на кухне, припасая бутылку самой дорогой водки, и только от него, как будто он один и помнил о нем, получая что-то в подарок. В последний свой приезд купил этот маленький компьютер с глазком видеокамеры, так что возникал уже на его экране, как будто это какое-то телевидение, и они говорили, видели друг друга, общались, совсем бесплатно: стоило сделать видеозвонок. Сын всех любил, объединял – вот и сестра летала к нему каждый год. И они надеялись, желая уже как чего-то последнего, что однажды не вернется. Верили почему-то – там и ее новая жизнь, будущее. И пусть они умирают здесь – а дети живут в Америке. И дети, и внуки. Еще далеко было до старости, но утешало – дождутся внуков и будут хотя бы кому-то нужны, чем-то помогут. Он заговаривал об этом с сыном каждый его приезд – а тот смеялся. Но что родить от кого-то могла их дочь – это пугало, этого боялись.

Беспокойство за детей, живое и трепетное все их детство, сотканное из радостей и надежд, стало страхом за их будущее – но как будто и у них ничего не было впереди...

Темным, гнетущим.

Этот страх, это ожидание чего-то безжалостного.

Ночь, неделя или год – все равно.

Существование бессмысленное, одинокое.

Для себя?

Зачем?

Ну а что потом?

Поэтому, казалось, больше не любили – и себя, и свою жизнь.

Теперь жили дети – без них и точно бы вместо них...

Только дети, – но увидел в ее глазах этот страх...

– Все? Ты проснулся? – И произнесла, как будто приготовив к этому, но почти бессмысленно: – Взорвали две станции метро – «Лубянку» и «Парк культуры».

Еще удар – прошел сквозь него и погасился. Осознал наконец. Совсем рядом, так близко. Это было почему-то удивительно... Но у них машина, у дочери тоже. Он уже забыл, когда спускался в метро – другая жизнь и где-то далеко. А если бы поехал на метро... Мысль об этом была неприятной. Исчезнув, как только опомнился, оставила легкую зыбкую дрожь. Казалось, тогда он и очнулся. Понимая, что должен жить, начать с чего-то: хотя бы умыться. Но что за отвращение, как перед смертью, к самому себе, ко всему... Жизнь, кто-то испортил ему жизнь – так что она стала вдруг какой-то непригодной, ну да, для него... для жизни.

Еще слушает жену – оказывается, звонили знакомые, звонила дочь. Значит, испугалась за них... Но казалось враньем, бредом... Для чего?

Он как сумасшедший: уснул одним человеком – а проснулся другим.

И она... На лице гримаса страдания и – как у сумасшедшей – это торжество: она страдает, так почему же и он не страдает, как она, от страданий других?

И уже не помнила – сегодня он должен поехать в клинику. Записался на этот день, готовился. Выполнил, что сказали: накануне обследования побрить для чего-то область груди. Звучало вполне солидно – «мониторинг». Сердце, давление – все сразу. Да, он хочет знать все о своем сердце и этом кровавом давлении. Чувствовал себя нормально. Но что-то вылезло на обычной кардиограмме. И уже месяц, если не больше, оплачивал то, что еще даже не было

лечением: ходил по врачебным кабинетам, ожидая услышать какой-то приговор. Вот к чему готовился и о чем думал, засыпая... Но уже боялся. Стал ощущать почти постоянные боли в сердце – и мучился неизвестностью, не мог успокоить хотя бы мысли. Думать о своем здоровье, что же это? Сопротивляться жизни, как болезни? Бороться, но когда только страшно? И еще жена... Она испугалась. Несчастливая. Когда-то превратилась в домохозяйку – теперь в сиделку. Следит за его питанием: ничего жирного. И это у нее появилась идея, вера, цель... Уход за больным. Когда-то ревновала, окружив собой, как стеной, – а теперь пыталась защитить, спасала, как думала, но мучаясь, будто бы что-то подозревая. А он, засыпая с ней в одной постели, думал о том, что если он не хочет умирать – то, значит, не хочет быть первым... Нет, нет... Он должен пройти обследование – суточное наблюдение за работой сердца – получив какой-то там диагноз, как многие и многие, кто уже получил. Предупреждение первое, сигнал об опасности: пришло время. Ну и что. Время... Все на его памяти, кто ушли в числе первых и лежали на кладбищах, почему-то торопились жить, куда-то спешили.

Сквозной шум экстренных новостных выпусков и репортажей был слышен в квартире отовсюду. На кухне, в комнатах – она включила телевизоры, забыв о них, потому что не слушала и не смотрела... Читала сообщения в интернете, погрузившись даже не в чтение с монитора, а в поиск новых и новых, так что уже не могла оторваться. Самое важное – скорее поделиться тем, что узнала... Глаза опустошенные, будто бы не спала много ночей... Немеет лицо, губы... Возникает смазанная речь...

Он даже не слышит – а видит – как она это произносит...

– Путин срочно вылетел в Москву!

Так уже было – он смотрит в экран телевизора. Кадры мелькают. Лица людей, столько лиц. Эти, они – в новом подземном аду. Каждый или опоздал, или поспешил, а иначе мог бы остаться в живых. Одно и то же документальное кино по всем каналам. Переключаешь – а картинка не движется, ничего не меняется, точно бы застыла. Но ему не страшно, смотрит – и ничего не чувствует, так вот вдруг омертвел. Надоело. Сколько можно. Смерть, смерть, смерть, одна только смерть... Все, что понял: погибло много студентов. Чьи-то дети. У всех есть дети. Однажды поразился, когда кто-то сказал: «Но ведь у Путина тоже есть дети...» Ну да – у всех. Почему-то и у Господа Бога.

Чтобы что-то делать – нормальное, обычное, – долго умывался, а потом брился в гулкой ванной комнате. Смотрел на свое отражение в зеркале, смыв остатки липкой пены для бритья... Подумал вдруг, глядя на лицо покойника – чужое, с чистой и гладкой кожей: а что если он сегодня умрет? И почувствовал бессилие... Казалось, поздно думать даже об этом. На кухне его ждал давно остывший кофе – а о завтраке она забыла, собравшись приготовить. Попробуй он уйти и вернуться – не заметила бы ни того, что ушел, ни того, что вернулся. Как это его злит!.. – но сдержался.

Услышал, что, пока был в ванной, опять звонила дочь.

Буркнул:

– Ну что ей надо, чего она хочет?

– Это твоя дочь, ты понимаешь это? Девочка переживает за нас, за тебя! – с усилием проговорила жена.

– Переживает... – он сморщился. – Пусть за себя переживает...

– Им только что позвонил его отец, он предупредил, что сегодня будет еще несколько взрывов. Тебе нельзя никуда ехать.

– Все живы, никто не полезет в это метро, – сказал и остался доволен собой.

Подумал о дочери: истеричка. Это муженька ее гражданского папочка по секрету предупредил: очень сведущий в вопросах безопасности высокопоставленный работник ФСБ... Крысы. И его дочь там, с ним, с этим сынком. Подумал – но смолчал... А жена заговорила: почему он жесток, почему не любит свою дочь... Услышал: «Ты всех нас презираешь!» Почти

выкрикивала, хотела ранить больней – но вдруг стала сама до того жалкой, что он уже не мог на нее смотреть, прятал глаза. Понимал: жене плохо, больно, страшно. Что к ней жесток, ее не любит – она же это сказать хотела... И ушла – но быстро вернулась, испуганная, прочитав и тут же поверив, что произошло два новых взрыва: якобы взорвали станции метро «Прспект Мира» и «Беговая».

Бред. Смертниц отследили по камерам наружного наблюдения – они вошли в подземку на «Юго-Западной»... Осталась одна, которая еще не взорвала себя, и она где-то там, среди людей, в метро... Официально передавали только, что остановлено движение по Фрунзенской линии метро. Или нет, не по всей линии, а там, где взорвали. Он хотел понять, но не понимал, перекрыто ли Садовое, иначе ему до Красной Пресни просто не доехать. Ехать по Комсомольскому или через Ленинский, а там-то что? Надо было решить... Решаться... Ехать, попытаться – или не думать, отсидеться дома. Страшно не было, скорее уж противно. Взрывы. Кровь. Смерть. Страх. Но как глупо – это только сегодня, а завтра однодневная война закончится и объявится подловато мир.

Когда он позвонил в клинику, ответил плавный спокойный голос, ощутимый, как прикосновение, – женский. Точно бы незрячий, почувствовал себя где-то там: порядок и покой, в котором ничто не менялось, отстоянную, выдержанную тишину клиники... Казалось, связь могла оборваться, и он сбивчиво, торопливо объяснялся, что был записан, но просил бы перенести, заставив себя тут же что-то солгать, чтобы не показаться трусом, – но напрасно. Наверное, было много таких звонков. Услышал, что ему ничем не могут помочь. Как будто заговорил автоответчик, откуда-то, где уже никого не было, предлагая записаться на прием к врачу, получить снова направление...

Пожалуй, только это – еще раз брить себе грудь – было бы и противно, и глупо. Жена – она снова обо всем забыла, уткнувшись в ноутбук, как будто кому-то в нем молилась. Сообщения о двух повторных взрывах уже опровергались. Но теперь она ждала звонка от сына, с которым что-то могло случиться, и в этом состоянии с оцепенением искала ужасное в новостях об Америке... Взорваться должен был весь мир.

– Хватит. Этих башен больше нет, – вырвалось почти с ненавистью к ней.

Она его мучила, мучила... Мучила и себя... Но зачем? Зачем?

И ее нельзя было успокоить – или заставить думать о другом.

Нет, для чего оставаться дома, ну для чего?!

Он уходил, больше ничего не сказав, будто мог уйти навсегда.

Место, где вчера запарковался – еле-еле, впритык к чужому бамперу – опустело. Последний – другие разъехались. Увиделось одинокое, брошенное – свое. Сел в машину, мотор завелся и заглох, завелся и заглох... Казалось, рассыпался. Нервы. Стало тесно, душно. Заныло сердце – и он замер, не двигаясь, как бы даже не сопротивляясь, подумав вдруг... Почему бы не представить, что он уже умер? Видеть, знать – но ничего не чувствовать. Самое время, самое время. Однажды прочитал в какой-то книге, запомнил: когда опаздываешь, замедли шаг. Хотелось спать, уснуть, просто от злости, бессилия – но очнулся. Внезапно ожил мобильный, как будильник, звонил и жужжал. Ловил его нервно в кармане плаща, поймал. Ответил как можно уверенней. Соврал, что уже в дороге и все спокойно. Что еще он мог сделать для нее... Осталась одна в пустой квартире и чего-то ждала.

Проронила – он забыл позавтракать.

Потом молчала.

Ответил – да, забыл.

Замолчал.

Сказали что-то друг другу – а отдали все слова.

Нет... Он еще дал ей слово позвонить из клиники.

То, что осталось, вся жизнь – страх за кого-то, ложь ради кого-то. Самые любимые люди, но и они платят тем же – лгут... А дочь? Просто у нее не получилось его обмануть.

Он выбрался из машины – и почувствовал в чахлам уличном воздухе неприкаянную нежность. Действительно, как это было медленно. Шел через пустынный сквер – и будто бы сквозь прохладный ветер. Чудилось – не наяву, а во сне. Кто-то выгуливал собак, кто-то спящих в колясках младенцев. Все поменялось как во сне: осень, зима, весна. Холмики грязного льдистого снега – уже прошлогоднего – больше похожие на вытолкнутые кротами кучи земли. Подумал: а человек? Вытолкнули откуда-то в этот мир – и у него только молодость и старость, жизнь и смерть. Потом увидел... Шли обыкновенные люди по всему проспекту, но в одном направлении, растянувшись цепочкой, много усталых людей – шли безмолвно, дальше и дальше, мимо, как беженцы.

Остановился троллейбус – казалось, потому что хоть кто-то ждал.

За его рулем – увидел в раскрытую переднюю дверь – точно бы прикованный азиат, в яркой униформе дорожного рабочего.

И это как во сне.

Это сон.

Вымерший салон, ни души.

Он то ли первый, то ли последний пассажир.

Все свободные сиденья, целый ряд – похожие на гипсовые слепки, принявшие жесткую автоматическую форму человеческих спин, чудилось, исчезнувших людей. Где его место – не понимает, не знает. Но среди них, потому что и он исчезнет... Занял, наверное, для инвалидов, одиночное, сев у окна.

Потом с высоты Лужнецкого моста перед глазами плыла и плыла черно-белая широкоэкранный панорама Москвы, с далекими куполами, крышами в бледной утренней дымке... Медленно, ровно движется троллейбус – им, уже казалось, никто не управлял... А по мосту навстречу брело множество людей. Люди брели вровень с машинами, как скот. Машины объезжали людей и не останавливались.

Троллейбус продолжает движение – замедление – молчание – ожидание, похожее на какое-то кружащее голову беспамятство.

Когда спасаются – прячутся, бегут... Когда спасают – жертвуют собой, гибнут... Как было бы страшно, если бы троллейбус сорвался, падая с такой высоты, а упав в реку, тонул бы, глотая воду, – ведь это может быть?

Получил все, что хотел получить от жизни...

У него все хорошо.

Хорошая жена.

Хорошая работа.

Хорошая машина.

Хорошая квартира.

Но почему же ему так плохо?

Подумал, начиная понимать, что никуда, возможно, не доедет: он, как забытая вещь, о которой вспомнят, если найдут... Подумал – и забылся. Сон продолжался – и, даже пойманный в ловушку, он не хотел вырваться. Когда этот троллейбус остановится и заглохнет, уткнувшись в себе подобный впереди стоящий – окажется, что и он заблудился, не зная, что делать, куда идти... Ничего не происходило. Потом вдруг раскрылись все двери, как потайные, открывая выход наружу, давая понять, что есть единственный, аварийный выход. Он еще сидел, думал, ждал... Но вышел, увидев эту картину: целый караван бездвижных транспортных гробов. Подходил следующий – и утыкался в другой. Вся линия стояла, как обесточенная. Но троллейбусы, не имея заднего хода, ползли, пытаясь продолжить свой маршрут, наползали один за другим, чтобы занять место в этой очереди. Взрыв что-то разрушил – но и продолжал разрушать. Из

города, в подземном брюхе которого разорвался маленький сосудик, как будто выползали внутренности... Это вызывало непонятную дрожь, даже трепет. Как предчувствие чего-то более грозного. Наверное, так. Взрыва, но какого-то более мощного. Конец, безвыходность – они как-то животно ощущались здесь, где омертвели грузные беспомощные железные жуки, прижмурившись к натянутым по воздуху проводам своими похожими на усики, застывшими над глубоко вырытой воздушной ямой штангами. Это производило впечатление более сильное, чем непрерывное отступление людей, когда переходили на другую сторону проспекта и двигались уже по-муравьиному, цепочкой, как бы в поисках выхода, зная, что он есть, потому что все куда-то идут, идут, идут... А он пошел вперед. Наткнулся взглядом на лица людей, еще чего-то ждавших в этих гробах, – по большинству стариков – казалось, на застывшие портретики, выставленные за стеклом, сквозь которое безучастно смотрели.

Потом его подобрала сумасшедшая полупустая маршрутка, что гнала на полной скорости – к месту катастрофы. Трупы, раненые: ничего этого не увидел. Только воздух пах женой пластмассой. Было оцепление: стояли, смущенные тем, что выставили их напоказ, солдатики. Дежурили машины скорой помощи и каких-то спецслужб, фургоны телекомпаний. Интервью брали тут же, перед входом в метро, – а несколько телекамер, расставленных вокруг, ловили прохожих, их лица.

– Скажите, пожалуйста, а метро закрыто? – опасливо спросила какая-то дамочка.

– Почему закрыто? Открыто... – безразлично ответил какой-то милицейский чин.

Когда он оказался там, в метро, то почувствовал себя в первую минуту как будто бы на вокзале – но в незнакомом городе, в котором теряешься, сделав шаг в сторону. Мало совсем людей. Заносит сердце – подумает о нем, вспомнит – и почувствует почему-то эту ноющую тупую боль... Гулко. Слышен, кажется, каждый звук. Купил билет. Прошел через турникет. Спокойствие милицейских патрулей – стояли в стихшем вестибюле, напоминая скульптурные группы: только овчарки не могли усидеть на месте и вертелись, как будто рассматривая себя перед зеркалом. Но было не по себе. Ощущение, что это место преступления – оно точно бы преследовало, подгоняло, подталкивая в спину, по которой нервно пробегала дрожь.

Эскалатор плавно опустил на глубину. Вынырнул подвывающий сиреной состав из черной загробной трубы туннеля. Голубые вагончики, похожие на батискафы... Мгновенное погружение в эту воющую черноту... Полупустой вагон, напряженные глухие лица – кажется, смотрит каждое из непроницаемой оболочки. Люди – живые скафандры. Изоляция – это как отсутствие воздуха. Время замерло, а воздух молчит, как будто, сжатый, нагнетают в пустой баллон. Потому что под землей... Да, казалось, на всех не хватает воздуха. От станции к станции это, наверное, усиливалось. Ощущение, что станет нечем дышать. И это напряжение – потому что почти у всех в руках мобильные. Может быть, кто-то нажмет на кнопку – и взрыв... Одна молодая женщина – вроде бы нерусская внешность, плотная одежда – ее обыскивают враждебно взгляды, следят. Он молится, вспоминая покаянную молитву. Когда похоронил отца, выучил, одну-единственную, наизусть. Да, ходил в церковь. Так было легче. Вот и сейчас, чувствуя облегчение, повторяет молитву – а дышит ртом, глотая слова вместо воздуха. Несколько минут пронеслось. Снова станция. Передышка, отступает страх. Всего несколько минут... Колотится сердце... И вот он вырвался... Все кончилось... Оглянулся – двери закрываются. И все там, внутри, где задраены оказались люди, похожее на аквариум, чудилось, наполняется тут же желтоватой мутной водой.

До клиники он дошел уже с большим трудом, хотя идти было всего ничего. Пахло женой пластмассой. Успокаивало только, что близко... Электронное табло в вестибюле высвечивало время – то, назначенное, которое точно бы и управляло чем-то в его жизни до этого момента, так долго. Но вот всего одна цифра перескочила на его глазах вперед, отпустив на свободу... Мелькнуло даже ощущение радости... Успел... Часы, минуты – и вот он, финиш... Кажется, первый... Первый – вот и вокруг никого... Он один... Опять... Звонок жене. Да, он доехал,

все нормально. И в городе вроде бы все спокойно, да. Нет, не расстроен... Нет, все в порядке... Да. Да. Нет. Да. Позвонит.

В отделении диагностики на удобных мягких пуфах вдоль стен – как малыши на утреннике – своей очереди ожидали пациенты платной поликлиники, бывшей когда-то ведомственной, поэтому по ее коридорам еще бродили, точно бы заблудившись, какие-то опрятные бедные старики.

Все в стерильных бахилах, разноцветных шуршащих пакетиках поверх обуви – за несколько медных рублей в маленьких капсулах, спрессованные, их выплевывал на самом входе автомат, похожий на игральный, как утешительный приз.

В холле большой плазменный экран, лекарство от скуки – для того чтобы, дожидаясь приема, здесь не замечали времени... Смотреть вместе со всеми телевизор должен был каждый, всегда. И – в молчании, чужие – все смотрели сосредоточенно на застывшую пеструю картину: в тот момент передавали выпуски новостей.

И только то, что отстраняло – тогда уж связывало.

Смотрели с удивлением, как из иных миров на безумный, больной.

Целой группой, так что было тесно, – но безразличные друг другу...

Смотрели, потому что это смотрит – должна – вся страна.

Менялись новости – но повторялись одни и те же кадры. Такой эффект... Стоп-кадр – и то же самое ускоренно перематывается на твоих глазах назад. Он уже видел это у себя дома несколько часов назад... Когда хотелось не видеть и не слышать вообще, никогда... Того, что покажут.

Почти поминутно в холле звучали чьи-то фамилии, кто-то вдруг вставал. Постепенно, незаметно люди пропадали, исчезая в одинаковых глухих медицинских кабинетах: казалось, не возвращаясь.

Наконец его вызвали... Он разделся до пояса перед медсестрой – такой же, как и его дочь, девчонкой – и было неловко, стыдно. Но сразу же подчинился – а та, уловив это женским чутьем, с капризным видом почти приказывала, нарочно заставляя выглядеть жалким. Это доставляло ей какое-то удовольствие, хотя изображала с брезгливой гримасой, что раздражает. Свою работу делала грубо, резко – прикасалась, всякий раз будто втыкая в кожу что-то тупое, холодное. И только когда установила на его теле все датчики, так что он оказался облеплен электродами, провода от которых тянулись к прибору, похожему на взрывное устройство, – вдруг не удержалась, глупо, по-детски хихикнула. Глупо... Смешно... Он сам вдруг выдал из себя улыбку, подумав, наверное, о том же, – и девчонка, сконфуженная, уже очень осторожно стала закреплять у него на теле еще один прибор, измеряющий в автоматическом режиме давление, от которого тоже тянулись провода к какому-то электронному устройству с пульсирующим красным индикатором. Проверила – работало.

Вести обычный образ жизни – совершать прогулки, лежать, ходить, работать, спать и тому подобное – отмечая в специальном дневнике время и обстоятельства возникновения неприятных симптомов. Это его роль. Новая. Главная. И он вышел из этого кабинета другим человеком, получив инструкцию, памятку – а главное, задание. Прожить двадцать четыре часа своей обычной жизни, но как бы заново, потому что теперь это стало целью. Да, да – целью, с которой ведут за ним наблюдение даже бездушные приборчики, их он будет носить на себе, не имея права отсоединить хотя бы во сне. Должен следить за ними, чтобы не отсоединились, а они, только каждую секунду, – за его сердцем. Неприятно сдавливая под одеждой, спрятанные, они уже работали. Ему казалось, он чувствует, как что-то вживилось и пульсирует уже в нем самом. Ощущения: он должен фиксировать свои ощущения, все их надо записывать... То есть пока что запоминать он их должен, чтобы потом, точно по времени, записать. Ну вот. Вот оно, его задание. Подопытный кролик, с которым проводят какой-то эксперимент. Но если уж кем-то чувствовал себя, то полным идиотом, жалким уродом. Почему именно сегодня? Для чего

он это делает вообще? Какие замеры, что они там покажут... Какая обычная жизнь... Какой обычный день... Издевательство... Уроды, идиоты... Обязаны были отменить, перенести – но как же, им-то наплевать! Ну почему он не остался дома... Если бы он знал, понимал, что это будет... Ну и урод... Он выругался сквозь зубы, но тут же замер. Сигнал – включился прибор. Стала плавно подкачиваться манжета автоматического тонометра, сдавливая и сдавливая руку. В этот момент – по инструкции – нужно остановиться и не двигаться. И вот, как по команде, резко остановился, не двигался, прислушивался к себе, ждал. Мимо проходили люди, кто-то даже оглядывался, ничего не понимая, – а он один остановился вдруг и стоял прямо на середине тротуара. Так это случилось... То есть началось... Это задание...

И вот он подчинился, начал его выполнять. И никто, никто, кроме него, теперь об этом не знал. Что-то похожее на несколько ритмических выдохов – и вот он почувствовал медленное облегчение в руке. Как будто это что-то живое – схватило, отпустило. Вспомнил... Надо позвонить жене, он обещал. Надо. Другое его задание... И вот уже слышит ее голос, так близко... Да, все нормально. Да, он уже в дороге и все спокойно, едет домой. Да. Да. Нет. Да. Она волнуется за сына. До сих пор не позвонил сын. Она переживает – может быть, с ним что-то случилось, там...

Пока слышит все это, молча улыбается, подумав – а о нем она не думает, за него не переживает, с ним ничего не случится... Он стоит здесь, посередине улицы, как сумасшедший – а она ничего не знает, но ведь именно поэтому, в таком случае, может быть спокойна. Вот еще эксперимент... Переживания, страдания, страхи, жизнь, смерть... Здесь все кем-то выдуманно. Все это чья-то идиотская выдумка, но никто ничего не чувствует, именно что не чувствует. Если бы здесь кто-то хоть что-то действительно чувствовал... Ну хоть опасность бы чувствовали – но нет, как слепые... Они идут в метро – а метро взрывают. И вот море слез – море чувств, но таких же слепых... Ведь ничего не знают – и не узнают: никто, никогда, ничего!

Он прошел всего несколько шагов – и вдруг опять встал, потому что судорожно захохотал, будто бы это был удушливый приступ кашля... Он понял... Он представил – ну да, как его остановят... Что будет, если... Он один, один такой во всем городе, наверное, – опутанный под одеждой проводами. Смертник. И он идет к метро, но никто не знает об этом – он и сам не мог бы представить такое ни в каком страшном сне. Да если кому-то рассказать... Умрут, умрут от смеха! И смех уже душил... Никто, никогда, ничего! Внезапно прибор под одеждой издал писклявый сигнал, сдавило руку, как если бы кто-то невидимый все сильнее и сильнее сжимал... Сбой... Автомат повторяет свои действия... Он понял, что это не прекратится, пока прибор точно не зафиксирует его давление: он заставил себя успокоиться, расслабился, как мог, покорно вытянув при этом руки вдоль туловища и не двигаясь – почувствовав, что устал...

Струсил – пытался поймать машину, чтобы доехать домой или хотя бы куда-то, где мог бы пересечь на маршрутку, троллейбус. Просил, как просят нищие, предлагая все, что было, но все равно оказывалось мало... Все, кто тормозил, хотели больше, больше, больше... Отъезжали, ничего не получив, – и не нашлось ни одного нормального. Ну да – а все нормальные благополучно проезжали мимо.

В конце концов, это был только страх. Он успокоился, походил у метро, как будто это было местом его встречи с кем-то. Чувство обреченности – никто не придет. Ждал – и не дождался. Потом, ничем не выдав себя, свободно прошел внутрь сквозь милицейские посты, расставленные примерно через каждые двадцать шагов. Только две молодые девчонки, уже там, на платформе, перешептываясь друг с дружкой, пялились пугливо в его сторону – а потом не зашли в вагон. Он вышел на своей станции, где было полно милиции, но тут же смешался с толпой.

Прибор сработал, когда уже чувствовал не себя – а эту плотную массу, что, как огромная утроба, носила в себе бременем столько людей. Массу, в которой он растворился и почти бессмысленно двигался на выход, куда-то вперед. Уже на поверхности порядок наводили бойкие

бабы с мегафонами, вызывая легкую панику и неумолчно предлагая пользоваться наземным транспортом. Но в нервной толкотне у автобусов, где взглядами, казалось, передавался сигнал об опасности, все спасались по одиночке – и тонули. Автобусы отправлялись экспрессом один за другим, не успевая заполниться, – а люди не успевали опомниться. Поток не убывал. Многие, не выдержав, отрывались, уходили одиноко дальше. Ушли, никто не вернулся – и он тоже решил дойти пешком, хотя бы до следующей остановки.

Наверное, он подчинился чувству самосохранения.

Остановка у церкви, полупустая – несколько человек, приличных, стояли в стороне, потому что, вся из стекла, приютила бродяжку. Экспрессы пронеслись мимо... По привычке ожидая маршруток, не понимая, что происходит, люди недоумевали – и только бомж, уснув мертвым сном, лежал на стальной лавке, по-своему свернувшись, чтобы было теплей.

На асфальте – сиротливо оставленный пластиковый стаканчик, приносивший ему подаяния... С монетками на доньшке, что собрались, точно капли.

У церкви всегда просили милостыню пропавшие – но у ворот, поближе к храму.

А этот или все пропил – или совсем пропал.

Храм построился в прошлых веках. Поновленный, сиял и радовался, будто бы и не помнил другую Москву, похожий на сказочный корабль, севший на мель и чуть накренившийся. Однажды потянуло, зашел, вспомнив об умерших родителях, поставил свечку. Копеечная свечка, вымученная об их душах забота – стыдно. Будто бы и сделал все это, чтобы обмануть... Но обожгло чувство стыда... Стало вдруг до ужаса ясно, что он, живой, больше не нужен отцу с матерью, а они – мертвые – ему.

Кладбище, их могила. Вот и все, что осталось.

После смерти родителей он почему-то с неприязнью смотрел на стариков. Было больно. Но от памяти о них он избавлялся сам – строго, последовательно. Действовал, как если бы должен был, подчинившись, сделать это – отчистить, убрать то, что оставили они после себя. Избавился от их одежды, ведь ее больше некому было носить, незачем хранить. Освобождался от старых вещей, потом от мебели. Просто выбрасывая. Переустроил квартиру, потому что стал хозяином – а когда сдал, поселив в ней за деньги чужих людей, даже не приезжал. Отделился, успокоился, все похоронил, мертвое – а исчезло живое, самое родное, материнское и отцовское, что оказалось ненужным, когда их не стало, но мучило, тяготило – наверное, как сама их смерть.

Помнил отца – то последнее время, когда он окаменел, замолчал. Отец думал только о ней, о матери. Жил без нее, один – замкнулся, удалился – и думал только о ней, но спокойно и твердо дожидаясь своей смерти. Через полгода – точно бы собравшись, оставив в пустой квартире какой-то солдатский порядок – ушел.

Никто не отвечал на звонки.

Вскрывать не пришлось – открыл своим ключом.

Работал телевизор.

Закрыв отцу глаза.

И не мог уже столько лет забыть.

Этот взгляд.

Купил книжку в церковной лавке – выучил по ней одну молитву.

Приходил, покупал свечи, стоял у икон – и уходил.

Советские люди, они до самого конца не верили ни в какого бога. Отец говорил: «Жить заставляет совесть». Верили в человеческую порядочность. Верили, что прожили честную жизнь. Верили себе. И что детей своих воспитали честными людьми. Так просто. А он не верит сам себе... Честность? Совесть? Вроде бы и вопросы есть – а ответов нет, то есть не нужны они никому... И если спросить сына о его жизни – ничего не расскажет. Только это: «Нормально». Надоело, наверное, слышать, отвечать. Но это страх. Все боятся. Но не кого-то – а самих себя.

Это где-то внутри, похожее на трусость, поэтому даже не мучает. Это стыд мучает, а трусость – она успокаивает, что ли, приносит облегчение. Родители – поэтому освободил себя даже от памяти о них, боялся. Осталась пустота. Страшно ее чувствовать в себе – дыру черную в душе, нет, яму. Страх, но уже другой, то ли перед жизнью, то ли перед смертью – в общем, перед неизвестностью. Когда стоишь перед этой ямой – и боишься себя спросить: во что я верю? кто я такой? Но откуда-то ждешь ответа. И все всегда чего-то ждут. Ждешь – как на этой остановке. Даже бродяга спит и видит, что бросят ему на пропой монетку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.